



# Шуровка

рассказ

**Олег КУИМОВ**

*Московская область*

**В** половине третьего ночи точно по расписанию поезд замер на минуту посреди леса и, едва дождавшись, когда я спрыгну прямо на насыпь, снова застучал стальными колесами по рельсам и исчез в темноте.

Я уже не первый год приезжаю в Таежный на охоту и каждый раз удивляюсь, как машинисту удастся не прозевать станцию, ведь единственным ориентиром для него является свет одиноко горящего фонаря — ни станционного здания, никаких признаков даже заброшенного жилья, не говоря уже о простой платформе. Сам поселок находится всего в километре, а от него мне еще топать двадцать километров до охотничьей избушки. Идти ночью даже лучше, чем днем: свежо и в темноте двигаешься как автомат: идешь, идешь по заросшей дороге, ведущей в заброшенную деревню на берегу быстрой речушки, в которой еще ловится хариус, — и вдруг на рассвете, когда сумрак рассеивается, выясняется, что путь почти весь пройден. Про эту деревню уже мало кто помнит, мне же ее показал дядька, лет двадцать тому назад валивший неподалеку лес. Дядька больше не охотится — здоровье сдало, а я вот езжу. Дома все давно уже раскатали и вывезли, но один домик каким-то чудом остался нетронутым; в нем я всегда и располагаюсь.

В отличие от большинства охотников-любителей, я предпочитаю охотиться в одиночку, даже без собаки. В сущности, я ведь приезжаю не ради трофеев и

уж тем более не ради того, чтобы попить водки — для этого существует коллективная охота. Просто так легче почувствовать хоть более или менее единство с этим могучим суровцем по имени тайга, дружбы которого так хочется добиться. Я один, и он один, только тогда он станет разговаривать со мной — без единого слова, но я услышу, пойму и буду счастлив и бесконечно благодарен. Именно поэтому я и не ценю групповую охоту: там много пустого, а главное ускользает. Однако у каждой медали есть обратная сторона. Ценой ошибки для любого таежника-одиночки может оказаться жизнь или здоровье. Это не значит, конечно, что охотники мрут как мухи, но можно нарваться на медведя; бывают несчастные случаи; в конце концов охотник запросто может заблудиться или оказаться без должного ухода и лекарств наедине с внезапной хворью — да мало ли что может произойти.

В первый день я охотился мало, зато на второй поднялся с рассветом, и охота задалась. К трем часам дня я настрелял уже семь рябчиков и, посчитав, что лучше не гневить удачу жадностью, отправился в свою избушку. Путь мой лежал мимо болота, и я решил собрать немного брусники для морса. Клюквы еще попадалось достаточно, а вот брусники, как и следовало ожидать, было уже совсем мало — так, по одной-две ягодки кое-где. Мне же хотелось именно ее: не так кислит. И я упорно продолжал чавкать сапогами по ржавым лужицам, наклоняясь за красивыми крепкими ягодами. Неожиданно у меня заболела голова. Боль стремительно нарастала, и надо было бы уже уйти наконец, но... я по-прежнему терпел. Вскоре лоб заломило невыносимо, и, скрючившись как старичок, я с трудом доплелся до суши. И здесь совершил вторую ошибку: прилег прямо на землю, от боли не найдя в себе воли наломать хотя бы свисавшего едва не до земли пихтового лапника, чтобы подстелить под спину. А в начале октября этого делать не стоило. Через некоторое время боль притупилась, но меня охватил озноб.

Еще было светло, однако приближение вечера уже наметилось: тени начали вытягиваться. Я поспешил к своей избушке, потому что

точно знал, что заболелаю: знобило уже ощутимо, идти стало тяжело. Я мечтал о неприятельном уюте своего жилища и живо представлял, как буду слушать потрескивание сгорающего в огне валежника, как буду наблюдать за синими язычками разгорающихся сыроватых веток и ярко-желтыми язычками — сухих.

Все эти фантазии так и остались фантазиями: оказавшись, наконец, в избушке, я ощущал себя уже настолько обессиленным, что первым делом завалился на нары, укрывшись с головой стареньким шерстяным одеялом, сразу же уснул. Спал я плохо и, открыв поутру глаза, долго лежал, размышляя над тем, что же дальше делать. Лучше мне не стало, сил не было даже встать с нар. Конечно, стоило бы как-нибудь дойти до станции, а там уж дотерпеть ночь в поезде да полчаса в трамвае и вызвать уже из дома «скорую». Однако двадцать с гаком километров, без особого напряжения преодоленные по приезде, в нынешнем моем состоянии пугали меня. Приемлемее выглядела вторая возможность: вниз по реке, в семи километрах, находилось село. Такой выбор отдалял меня от станции уже почти на тридцать километров, но я надеялся добраться до нее из села на машине.

Идти, понятное дело, было тяжело: если еще вчера я свободно поднимал одной рукой пятидесятикилограммовый мешок, то сейчас еле тащил полупустой рюкзак, часто присаживаясь у деревьев перевести дух.

«Как тонка грань между жизнью и смертью, между молодостью и старостью. Сегодня ты силен, а завтра бессилён», — подумалось мне. Когда-то в школьном кабинете биологии красовался плакат: «Человек — царь природы». Никогда раньше этот лозунг не казался мне таким глупым, как сейчас, — глупейший из всех глупейших, выдуманных когда-либо человеком. Этого царя собственный «слуга» прихлопнул бы сейчас ладошкой и не заметил. Я — царь! М-да... Жалкое зрелище жалкого царька, выдающего желаемое за действительное. Ну как тут не посмеяться над чванством муравья, уносимого внезапным порывом и возвещающего на весь лес, что он управляет ветром?!

На окраине села, куда я вышел, строилась церковь. Особо не размышляя, я сразу отворил калитку. Неподалеку, у забора, два бородастых мужика укладывали бревно на стоявшую под навесом пилораму. Заметив меня, они остановились.

— Бог в помощь, мужики, — вспомнил я полагавшееся в таких случаях в православной среде пожелание и протянул ладонь.

Оба неторопливо сняли по верхонке и крепко пожали мне руку.

— Как бы мне священника увидеть?

— А никак, — ответил тот, что был постарше — лет пятидесяти, низенький, как говорится, метр с кепкой, но мощного телосложения мужичок с цепким взглядом. — Уехал батюшка в Таежный.

— Может, посоветуете, как бы и мне добраться до Таежного? — спросил я.

— Нет, сейчас невозможно. Никак дорога после дождя не высохнет, так что никак не проехать.

— А как же батюшка-то уехал? — пожал я плечами в недоумении.

— Так только на его «уазике» и можно проехать. А больше ни на чем сейчас и не проедешь. А что у тебя за дело такое?

— Да заболел я. Приехал поохотиться — и на тебе. Боюсь, как бы не воспаление.

— А ну-ка пошли со мной, — низенький мужик без всяких церемоний положил руку мне на плечо и тихонечко подтолкнул вперед. — Пошли... пошли.

Тут же на территории строящейся церкви находился жилой дом. К нему он меня и повел. Мужичок по-хозяйски широко распахнул дверь, и, войдя вслед за ним внутрь, первым делом я с радостью ощутил, как хорошо протоплена изба. Посредине большой комнаты стоял длинный стол, за которым две женщины чистили крупную картошку. Слева располагалась еще одна комната — поменьше первой. На противоположной стене висела большая деревянная икона с полустершимся от времени ликом.

— Человеку вот надо помочь, захворал он, — обратился мужичок, указывая на меня. — На Дальней Гари охотился... вот такое дело. До

станции ему оттуда тяжело идти... до нас вот добрался... Анна, пусть он тут у вас сидит, пока я за Аллой Владимировной схожу. Напой человека чаем... пошел я. — И прежде чем скрыться за дверью, сказал уже мне: — Присядь пока, в ногах правды нет.

Одна из сидевших, круглолицая, приятная внешне пожилая женщина поднялась и включила электрический чайник. Затем вновь присоединилась к напарнице.

Пока вода закипала, мы познакомились, и я, отвечая на вопросы женщин, поведал им свою историю. Круглолицая женщина, как я и предполагал, оказалась Анной, а вторую звали Александрой, но Анна называла ее Шурочкой. Анна, видимо, была у них за старшую, и говорила тоже все она, а Шурочка молчала.

Я с удовольствием выпил одну кружку горячего чая с медом и принялся за вторую, когда за дверью послышались шаги, затем в избу вошел все тот же мужичок с пожилой, но еще привлекательной женщиной. Она перекрестилась на икону и, слегка наклонив голову, поздоровалась молодым и очень приятным голосом, сопроводив свое приветствие сдержанной улыбкой вначале женщинам, а потом и мне.

— Ну, что там у вас? — подошла она ко мне. — Рассказывайте. А пока температуру померьте.

Температура у меня оказалась высокая — тридцать девять и два. Но после прослушивания легких Алла Владимировна, как я понял, врач по специальности, успокоила меня:

— Воспаления у вас, к счастью, нет. Обычная простуда. Но вообще я вам скажу: так на собственном здоровье ездить нельзя. Все вы мужики одинаковы, совсем не бережетесь, как будто мешок жизни под кроватью стоит. Одна жизнь-то!

— Да это понятно, — я сокрушенно вздохнул как провинившийся школьник; по правде сказать, я всегда чувствовал себя не в своей тарелке с врачами и милиционерами.

— Ну, коли все понимаете, то придется выполнять мои предписания. В первую очередь, полный покой, постельный режим. В общем, поживете, пока батюшка не вернется, в этом доме. За вами здесь и поухаживают, и накормят.

Ничего другого, как согласиться, в моем ны-

нешнем состоянии мне не оставалось. Запив водой выданную Аллой Владимировной таблетку парацетамола, я улегся в маленькой комнате и слушал, о чем говорили женщины, да поглядывал в окно. На улице было пасмурно, и выходить куда-то из теплого дома не хотелось; лежал бы и лежал так не знаю сколько. Где-то взвизгивала, вгрызаясь в дерево, пила, стучали молотки, кто-то кому-то кричал. А мне не было ни до кого и ни до чего дела: я просто слушал чужую, совершенно неведомую мне жизнь, и ничто не напрягало меня. При всем при этом мне вовсе не было скучно, хотя дома бездействие меня всегда угнетало. Даже неторопливый разговор женщин и дробный стук шинковавшего овощи ножа звучали для меня баюкающей музыкой. И я уснул.

Проснулся я от шума голосов. Из кухни выглянула Анна и спросила:

— Как вы себя чувствуете?

Привстав на локти, я покрутил шеей, с удовольствием ощущая, как слегка захрустели позвонки.

— Гораздо лучше.

— Ну, тогда пойдёмте с нами пообедаем.

Я согласился и вышел ко всем. За столом уже сидели еще три женщины и четверо мужиков моих лет. Вошел тот мужик, что привел меня сюда, — вместе с напарником.

— О, Петрович пришел. Ну, пора приступать, — разом заговорили люди, поднимаясь со своих мест.

Повернувшись лицом к иконе, стали молиться. Я стоял позади всех и дожидался окончания молитвы.

— Не веруешь, что ли? — обратился ко мне с вопросом Петрович.

— Бога признаю, церковь нет, — ответил я.

— А... ну смотри, немаленький уже, своя голова на плечах, — спокойно сказал Петрович и принялся за еду, удивив тем, что, вопреки моему ожиданию, не стал проповедовать невежде свою единственно верную из всех правд правду.

Сидевшая напротив меня старушка, подавая за вторым свою миску, вдруг посмотрела прямо на меня, и в ее глазах проскочила озорная хитринка:

— Ну а как вам наш храм?

— Ну как? — пожал я плечами в изумлении. — Красивый. Разве бывают некрасивые церкви?!

— Да, в общем-то, да, — согласилась со мной старушка. — Просто нам самим очень нравится наш храм. Жаль, молодежь не хочет ходить. Одна вот Шурочка и отдувается за них.

Я машинально взглянул на Шурочку и заметил, что она покраснела в смущении. Не поднимая глаз, молча поставила на стол большую миску с гречневой кашей и, отойдя к окну, стала оттуда за всеми наблюдать. Щеки ее попрежнему пунцовели. Выглядела она лет на тридцать с небольшим. Приятная, но не так чтобы уж очень. И тихая какая-то уж больно, как пришибленная.

За столом больше говорили о погоде, о том, что осень, по приметам, должна быть теплой и сухой. После обеда снова помолились да и разошлись по своим делам, а я опять завалился спать. Шурочка с Анной принялись убирать со стола.

Но сон не шел, и я попросил что-нибудь почитать. Шурочка порывалась в тумбочке и достала старый, пухлый от времени церковный журнал.

— Вот, больше ничего нет, — произнесла она, и я понял, почему Шурочка до сих пор молчала: речь ее была заторможенной, как у глухих.

— Ну и ладно, пойдет, все равно не просто так валяться, — согласился я.

— Ты, главное, отдыхай... отдыхай, — перешла на «ты» Анна, — тебе сейчас сил надо набираться.

Подложив повыше подушку, я принялся просматривать церковный журнал. Признаться, в любом другом случае такая литература меня бы не заинтересовала, но на безрыбье и рак — рыба. Вначале я просмотрел фотографии, потом, заглянув в статью о каком-то немолодом, видимо, заслуженном священнике, увлекся ею и, начав читать с середины, вернулся к самому началу и прочел в итоге до конца.

Все же мне удалось уснуть. Сон был глубоким; проснувшись, я уже не чувствовал себя так, как это было прежде, — будто меня переехала телега. Женщины уже ушли по домам, оставшийся вечер я коротал со сторожем — де-

дом Пахомом. «Зови меня Пахомом», — велел он мне при знакомстве, но обращаться так запросто к старику я не решился и называл дядей Пахомом.

Мы разговорились. Я в основном слушал, а дед Пахом, как свойственно всем старикам, предпочитал в разговоре солировать. Как-то незаметно он перешел на молодежь и на Шурочку.

— Вот ты не гляди, что она такая с виду. Это оно так только кажется. С речью у нее нелады, вот и кажется. На деле-то оно не так все. Умная она девка... очень, образования-то, понятное дело, нет, да оно ей ни к чему: любого грамотея за пояс заткнет. Ты присмотришься к ней. Был у нас такой случай, давно уже... помнится, Пасха в тот год поздняя была, чуть не в мае. То ли восемь, то ли семь годков тому. Ну где-то так примерно. Наведался тогда летом к Матрене (есть тут у нас такая) внук с другом погостить... на рыбалку приехали. Первый день пропьянствовали, а на второй, правда, ничего — собрались на реку. Бабы рассказывали, а им Матрена: Шурочка увидела этого внука-то с другом на дороге да как пристанет к дружку-то этому: уезжай, дескать, скорей, пока не поздно, не то быть беде. Тому бы послушаться, да кто ж всерьез бы принял на его месте ее слова. Как говорится, задним числом все мудрецы — так оно всегда в жизни бывает. Посмеялись над Шурочкой — блаженная, мол, — да и ушли, а Шурочка-то права оказалась: утоп гость-то, в тот же день и утоп по пьянке... Дернул его леший купаться надумать. Вода-то еще холодная. У Матрениного-то внука хватило ума в воду не лезть, а этот вот и утоп понапрасну.

Так-то вот оно, чует она человека. Не знаю как, а чует ведь — и все тут. У нас ее даже побаиваются. — Дед Пахом задумался на миг о чем-то о своем и продолжил: — Так вот оно... дар, видать, у нее такой — человека видеть.

Он замолчал, и я, воспользовавшись паузой, спросил:

— А чего же она замуж до сих пор не вышла?

— А судьба у нее, знать, такая. И потом, какие у нас женихи? Все разъезжаются, а которые остаются — то название одно, а не женихи. Вовремя не успела выскочить, а теперь уж судьба одной вековать. Да и куда ей ехать-то?..

У нас дом копейки стоит, да и тот еще кому-то продать нужно. И что она даже в том же Таежном купит? Сотку под забором?..

— Да уж... — вздохнул я.

— То-то и оно! — сердито пробурчал дед Пахом.

Мы поговорили еще немного и легли спать. Дед Пахом почти сразу и захрапел, да и я тоже долго не церемонился.

Проснувшись, я почувствовал себя значительно лучше. Температуры уже не было, и лишь небольшая слабость напоминала о перенесенной болезни. Дед Пахом уже успел согреть чай, и мы выпили по три стакана с медом до прихода Шурочки и Анны, после чего он сразу же ушел домой. Я тоже оделся и вышел на улицу, так как лежать в кровати, будучи практически здоровым, мне было неловко, а мешать женщинам не хотелось.

Времени у меня теперь было вдоволь, и, чтобы хоть как-то убить его, я тщательно осмотрел церковь и снаружи, и внутри. Церковь, понятное дело, была деревянной. Особых архитектурных изысков, на мой взгляд неспециалиста, не обнаруживала. Затем я отправился бродить по деревне и за этим занятием едва не пропустил обед. Точнее сказать, пришел на него, когда все уже заканчивали трапезничать.

— Где же ты так долго ходишь, мы уже ждем-пождем, когда же наш гость наконец объявится, — встретила меня у порога Анна.

— Привыкать уже стали, — поддержала напарницу Шурочка, с трудом выговаривая слова.

— Куда тебе ехать? Оставайся у нас. Мы за тебя Шурочку отдадим. Смотри, какая молодуха! — пошутил Петрович, громко рассмеявшись собственной шутке.

Я в ответ лишь улыбнулся, предпочтя промолчать, заметив, как смущенно покраснела Шурочка.

— Все бы тебе пересмешиничать, — вмешалась в разговор незнакомая мне старушка, — че девку-то попусту смущаешь?

После обеда все опять разошлись по делам; Анна, сославшись на то что захворала коза, тоже ушла вслед за остальными. Я сел за стол и стал листать от скуки вчерашний журнал. Внезапно ни с того ни с сего я вскинул голову и

встретился взглядом с внимательно смотревшей на меня Шурочкой. Только теперь я заметил, что смотрит она не по-бабы, а по-девичьи — коротко, резко обрывая взгляд.

— Хочешь еще чаю? — произнесла она непослушным языком.

Мне показалось, что ее красивые карие глаза высветили меня, как рентгеном, до самых потаенных уголков души. Мне стало не по себе, так что я даже поежился, как от озноба, при одной мысли, что она, верующая, чистая женщина, видит меня, светского человека, и таким, каким в любой другой среде мне не зазорно, но вот именно перед ней — стыдно. От неловкости я уткнулся в журнал и, не успев ничего сообразить, тут же согласился:

— Да-да, конечно.

Чай был горячим, и, отхлебывая его маленькими глоточками, я стал расспрашивать Шурочку о жизни в деревне. Говорить ей было трудно, и я старался задавать вопросы так, чтобы получать однозначные или короткие ответы. При этом во взгляде ее отражалось ровное, идилическое спокойствие умудренного размеренным ходом жизни человека. Не знаю, что меня толкнуло, но я вдруг спросил Шурочку, отчего же она не пошла в институт. Боялась, что затруднения с речью? Она утвердительно кивнула головой. В детстве испугалась? «Да», — снова кивнула Шурочка. А что же тебя родители не лечили? Лечили, в Таежном, но далеко ездить, и врач потом уехал. Эх, Шурочка, да ведь тебе надо было институт заканчивать, у тебя такие умные глаза. Шурочка зарделась и вскинула на меня короткий благодарный взгляд.

С того момента некоторое напряжение, всегда присутствующее при первом знакомстве, между нами исчезло. Я снова ушел бродить по деревне, прогулялся по тайге, а когда ближе к вечеру вернулся обратно, Шурочка встретила меня уже со спокойной улыбкой и не опускала поспешно глаз, встречаясь со мной взглядом.

После ужина работники разошлись, а Шурочка задержалась с уборкой.

— Знаешь, Шурочка, — промолвил я, — гляжу вот на тебя и не пойму, куда же мужики

смотрели? Почему не замужем-то? Провыбиралась сама или так сложилось?

Она пожала плечами, грустно поджала губы в трогательной детской улыбке и вместо ответа на мой вопрос произнесла:

— Завтра батюшка должен приехать, так что ты от нас уедешь.

— Да, и так задержался. Пора уже.

— А ты побудь еще чуть-чуть, а потом и уедешь себе спокойно. У нас хорошо. — Шурочка снова улыбнулась по-детски наивно, и, заглядывая в эти чистые карие глаза, осветившиеся изнутри, я невольно улыбнулся в ответ так, как не улыбался уже сто лет.

— Рад бы, Шурочка, да никак нельзя. Я же подневольный человек. Работа! — И, преодолев возникшую во мне неловкость, добавил: — А ваши мужики все равно дураки.

Шурочка смутилась и перевела разговор на другую тему:

— А чего ты церковь не признаешь? Бога вот признаешь, а церковь нет.

— Да посмотришь на попов — и всякое желание идти в церковь испарится.

— Так ведь в церковь-то мы не к попам идем. — Шурочка заволновалась и оттого стала произносить слова с еще большим напряжением.

Мы заспорили, и Шурочка улыбнулась (улыбчивость была ее естественным состоянием):

— Я не умею говорить, у меня лучше получается записывать свои мысли. Читаю их потом. Интересно ведь, что я думала, как сейчас думаю. Я вообще очень люблю читать. Если хочешь, покажу, что написала, только ты никому не говори. Я никому не показываю.

Я заверил Шурочку в своей джентльменской порядочности, и она, ненадолго отлучившись, принесла мне из дома потрепанную тетрадку.

Вскоре пришел дед Пахом, и Шурочка ушла. Дед, как и вчера, рассказывал, я слушал. Затем он лег спать, а я принялся за чтение. Признаться, я рассчитывал просмотреть из вежливости страничку-другую обычной женской сентиментальщины, но в итоге с удовольствием прочел большую часть записей. Неужели так могла написать молодая женщина, да еще деревенская, без образования? И хотя писала она в основном на совершенно чуждую мне

религиозную тему, ничто не раздражало меня в этот раз. Напротив, я впервые подумал, что православие может состоять не только из дорогого парчового облачения священства, богатых храмов, деревянных икон, восковых свечей и бабушек в платочках, но и уходить глубже церковной помпезности.

«Подобно тому, как винтовка уравнивает большого и маленького, покаяние уравнивает слабого и сильного перед Богом. Ведь при покаянии одинаково очищаются оба — и тот, кто получил силы преодолевать, и тот, кому эти силы не приложились ни при рождении, ни воспитанием. Покаяние — высшая справедливость, а не выдумка людей», — поражался я неожиданному откровению Шурочки, до которого сам бы никогда не додумался при всем своем институтском образовании.

«Я бесконечно благодарна Господу за то, что наделена совестью; при помощи ее мне более или менее удается не переступить черту, за которой теряется достоинство человека. Совесть — это такой замечательный инструмент для человеческой души».

«Ну откуда молодая деревенская женщина без высшего образования может знать, что слово «инструмент» употребляется еще и в качестве философского понятия? — удивлялся я. — Понятное дело, где-то прочла, но ведь уяснила!»

«Как страшен человек! Как легко он соглашается быть зверем. Как же ему можно жить без Бога?»

То ли Шурочка действительно хотела поделиться сокровенным, то ли через свои записи проводила для меня ненавязчивую проповедь, и все же, отдавая рано поутру тетрадь, я был искренне рад, что, хваля Шурочку, ни капельки не кривлю душой.

— Я рада, что тебе понравилось, — обрадовалась она. — Оставайся...

Договорить Шурочка не успела, потому что за дверью послышались быстрые шаги, дверь распахнулась и вошел Петрович.

— Батюшка приехал. Отдохнет немного, сам и отвезет тебя в Таежный.

Священник оказался молодым, лет тридцати, веселым малым. Вечерний поезд из Таеж-

ного отправлялся только в половине одиннадцатого вечера, а езды, по его словам, выходило, при самом неблагоприятном раскладе, не более чем часа на два. Так что впереди был еще целый день.

Чтобы хоть как-то отблагодарить хозяев, я стал помогать строителям. Петрович выдал мне пару рукавиц и отправил перетаскивать вместе с одним стариком доски из-под навеса в церковь. В какой-то момент старик отлучился, а меня заинтересовал лежавший в опилках крупный жук-носорог. Мимо, как я почувствовал, кто-то проходил, и, подняв голову, я увидел Шурочку.

— Привет, Шурочка. Вечером вот уезжаю, — улыбнулся я.

— До Покрова не уезжай, без тебя будет скучно, — озарилось в ответ Шурочкино лицо. — Оставайся!

После обеда все опять разошлись, Анна тоже ушла, а мы с Шурочкой продолжили чаевничать. И в который уже раз она произносит:

— До Покрова не уезжай... ты веселый — без тебя будет скучно.

Бедная, бедная Шурочка, я должен был ответить тебе, что дома меня ждут жена, дети. Но я промолчал об этом. Живо увидел, как потухнет мерцающая искорка в оживших после многолетней спячки глазах, и не хватило духу. И зачем только я улыбнулся тебе вчера теплее, чем следовало?.. Чтобы растопить корку льда, скрывавшую во взрослой девочке не знавшую любви женщину? Ну почему так бывает? Почему никто раньше не принял в себя этот свет, так некстати прорвавшийся из твоей души именно сейчас? Только потому, что Шурочка плохо говорит? А эти глаза, улыбка, правильные черты лица и бесконечный поток света? Это зачем? Просто так? Как глупы люди! Милая кареглазая снегурочка, если бы ты знала, для какого грешника оттаяло твое сердце! Да не будь даже у меня семьи, разве осмелился бы и тогда прикоснуться к твоему сиянию! Ночь не сходится с днем... Может, потому никто и не подошел к тебе? Не из молодых, конечно: тех пугает отклонение от нормы — а из тех, кто поглубже прикоснулся к знанию жизни, познал, как золото оказы-

вається позолоченим свинцом, а простої темний камешек — брилліантом.

Шурочка сидить поряд, і я чувствую, як вона тягнеться ко мне, внешне оставаясь неподвижной. И мне не по себе, оттого что я не могу потянуться в ответ. И сам себе я представляюсь сейчас камнем, на который сбредивший с чего-то ветер бросает горящие августовским солнцем пшеничные зерна. Я напрягаюсь — она тоже застывает — прямая, как у Майи Плисецкой, струнка спины. Для кого-то, скорее всего, просто спина, а не струнка, но они не видят, Шурочка, в тебе девочку, как я. Для них ты просто одинокая женщина с легким жизнерадостным характером.

Вот ты уже идешь по двору, а я смотрю на тебя в окно. У тебя глаза девочки, а ноги женщины. При ходьбе ты слегка косолапишь их, как это делают неуверенные в себе люди. Непонятно, почему ты так запала мне в душу, ведь это не любовь, а обычная жалость, может быть, даже и к себе — пронзительная тоска по несбывшемуся. Нет, я не сожалею о своей судьбе, соединившей меня со своей женой: я люблю ее. Но о таком свете, рождающемся в одной из миллионов, мечтает каждый неглупый мужик, даже полностью счастливый. И этот свет, что больше всего, наверное, так и потухнет в тебе, никем не востребованным. Странна, поразительно странна эта хитрая штука под названием «судьба»: вознесет на вершину непонятно что — и не заметит соли... сути... света... солнца...

«Твоя жена очень хорошо готовит?» — спрашиваешь ты меня непослушным языком (бедная Шурочка, тебе уже рассказали, и ты все знаешь — я ведь говорил с дедом Пахомом о семье). «Хорошо», — отвечаю я.

Глаза у тебя подергиваются печальной пеленой, и губы мягко раздвигаются в виноватой улыбке: «У тебя красивые дети?» — и я не могу понять, то ли ты спрашиваешь, то ли утверждаешь: слова звучат нечетко и тихо. У меня и в самом деле красивые дети, но я задумчиво пожимаю плечами: «Наверное». — «А жена тоже красивая?» — «Пожалуй, да».

Ты спокойно улыбаешься, по-детски чистая, всегда радующаяся чужому счастью. И

вдруг улыбка деревенеет на твоём лице мертвой маской. А я ненавижу себя за то, что выронил из блокнота семейную фотографию. Ты рассматриваешь моих детей, жену, а я клянусь себя за то, что из-за меня тебе больно, ведь ты видишь на снимке свое несостоявшееся — не со мной, понятное дело, но все равно несостоявшееся... с кем-то.

Вот и подошло время расставанья. Я прощаюсь со всеми и выглядываю в окно. Милая Шурочка, кареглазая пугливая лань, я вижу, как в сгущающихся сумерках мелькает за забором твоя белая косынка.

— Батюшка, вы не спешите: я в туалет пока на дорожку заскочу, — закрываю я за собой дверь, с радостью замечая его согласный кивок.

Выхожу за калитку, и ты подходишь со своей неизменной улыбкой.

— Ты приезжай. Я буду скучать без тебя, — смущаешь ты меня незатейливой простотой обескураживающе откровенных слов.

Я широко улыбаюсь в ответ. Ты неотрывно глядишь на меня, и мы оба знаем, что, скорее всего, больше не увидимся. Но при этом, как в каком-то абстракционистском фильме, радостно улыбаемся. Я знаю: ты будешь помнить меня хорошо, Шурочка, и от радости мне хочется сказать тебе на прощанье что-то особенное душевное, но боюсь сфальшивить.

И я тоже тебя не забуду, Шурочка, хотя и люблю другую. Прощай, снегурочка, и прости глупца за неосторожный взгляд. Я так и говорю тебе:

— Прощай, Шурочка, и прости, если что не так.

— За что п-п-прощать? — как обычно, медленно растягивая буквы, произносишь ты, и твое лицо освещается грустной улыбкой. — С тобой интересно было.

Я не выдерживаю печального взгляда и, почему-то волнуясь, говорю:

— Шурочка, уезжай отсюда в город.

— А где я буду жить?

Я не знаю, что ответить, и, понимая твою правоту, все же произношу:

— Но здесь же можно свихнуться от тоски. Здесь нет будущего.

— Это так только кажется. Везде можно жить, да и поздно уже куда-то ехать.

От этих слов мне становится не по себе, и я замолкаю.

— А ты приезжай к нам в гости... с семьей. Я буду ждать, — улыбаешься ты и опускаешь глаза. — Я буду скучать без тебя.

Услышь любой другой сейчас эти слова, посчитал бы Шурочку недалекой умом, блаженной, но я-то знаю, что она просто не от мира сего, искренняя и чистая до той самой боязни перед ней деревенских, и сказанное воспринимаю сравнительно спокойно, боясь только одного — чтобы легкое смущение не отобразилось на моем лице.

В вагоне уже давно стоит дружный храп, и лишь только я все никак не могу уснуть. Мне все время вспоминается Шурочкино лицо, то по-детски простоватое, то не по-детски мудрое, и ласковые глаза, то смеющиеся, то вдруг темнеющие от печали. Я невольно усмехаюсь: напротив меня спит девушка, как сейчас говорят, модельной внешности, а вот ее лицо не отпечаталось в моей памяти, хотя и разговаривал с ней совсем недавно.

Все же мне удалось немного вздремнуть. Проснувшись, я стал смотреть в окно. Трава серебрилась инеем, болотца под насыпью отсвечивали тоненькими ледяными стеклышками — зима уже возвещала о своем приближе-

нии ночными заморозками. Вскоре пошли пригородные дачи — мы подъезжали. За соседними боковушками проснулись и зашептались между собой две девушки. Одна из них спустилась с верхней полки и склонилась над сумкой. Сквозь белую футболку угадывалось хрупкое тело — девочка-подросток, старающаяся при помощи макияжа и напускной солидности выглядеть старше. Я слышу произносимые юными соседками «первая пара, деканат, общага» — а передо мной встает глухая таежная деревня и одинокая женская фигурка у церковной калитки. Выходя из купе, я улыбаюсь студенткам: «Девушки, удачи вам в жизни». Они оборачиваются на меня — губки вначале удивленно приоткрываются, а затем растягиваются в искренней улыбке: «Спасибо».

□

### ***Олег Владимирович КУИМОВ***

*родился в 1967 г. в Кировокане.*

*Окончил Литературный институт им. А. М. Горького.*

*Публиковался в журналах «Луч», «Лампа и дымоход»,*

*«Улица революции», «Рюкзачок с сюрпризом»,*

*в различных газетах, в том числе в Армении и Беларуси.*

*Лауреат премий «Славянские традиции»,*

*«Буревестник» и «Ковдория».*

*В журнале «Север» публикуется впервые.*

